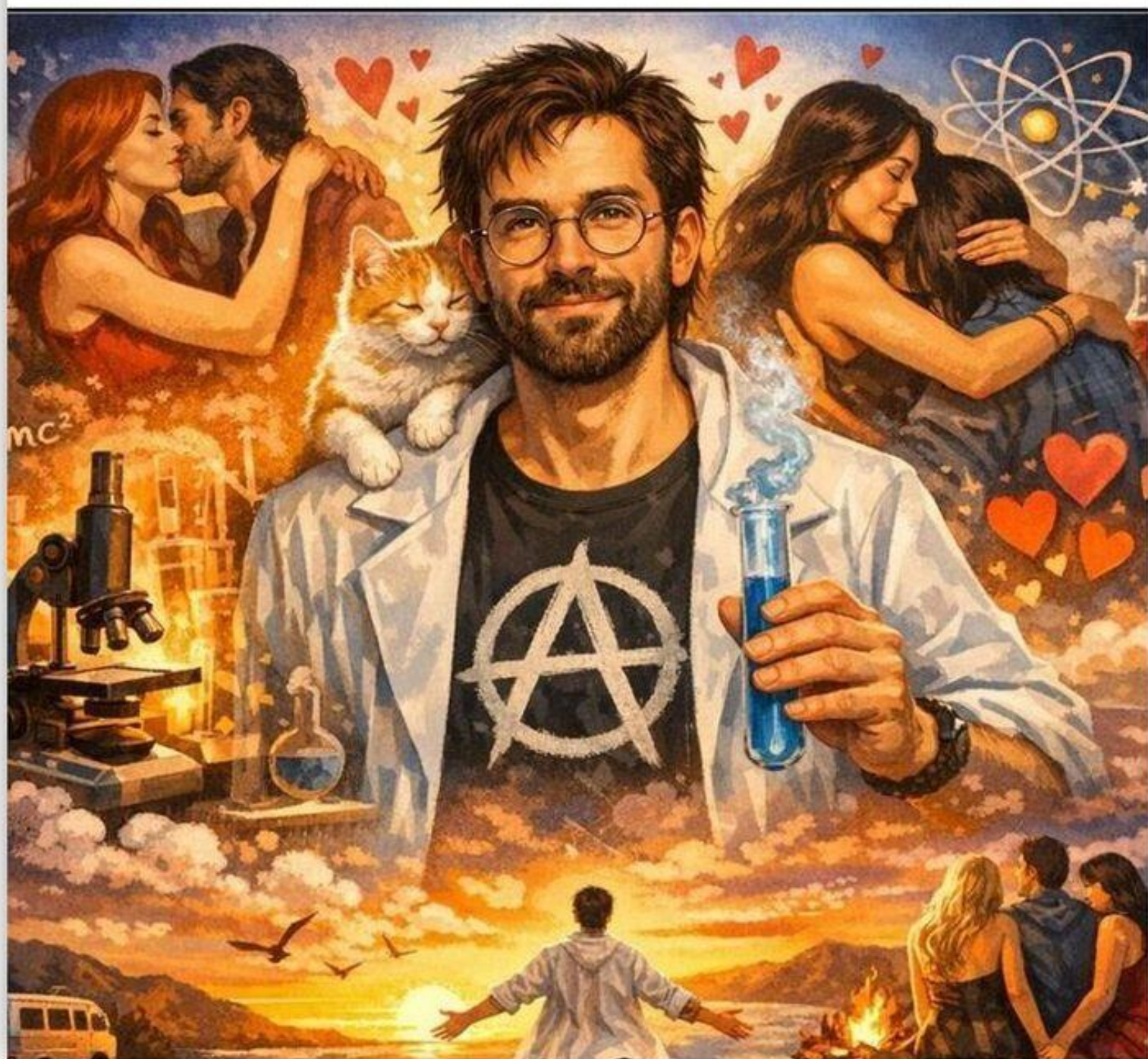


18+ Наталья Исаева

# Леша-химик



Наталья Исаева

**Леша-химик**

«Издательские решения»

## **Исаева Н.**

Леша-химик / Н. Исаева — «Издательские решения»,

Это история о любви и выборе. Главный герой — ученый-физик с анархистским прошлым. Он ставит опыты, строит отношения, лечит и пристраивает бездомных котов и просто живет. Он сторонник свободных отношений и полиамории, предельно честен в отношениях с женщинами и умеет доставить и получить удовольствие и при этом не разбить никому сердце. В финале он находит свободу и счастье, поняв, что сделал правильный выбор.

© Исаева Н.

© Издательские решения

# Содержание

Пролог. Формула тишины	6
Глава 1. Первая бутылка	8
Глава 2. Девочка с качающимся настроением	12
Глава 3. ЖЖ, вьетнамское кафе и химия	16
Глава 4. Лекция об анархизме	20
Конец ознакомительного фрагмента.	22

# **Леша-химик**

**Наталья Исаева**

© Наталья Исаева, 2026

ISBN 978-5-0070-2569-0

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

## Пролог. Формула тишины

2005 год. Москва, Каширка.

Окно выходило на Каширское шоссе. Шесть полос бетона и света, нескончаемый поток машин даже в два часа ночи. Алексей сидел на подоконнике, прижавшись спиной к холодному стеклу, и смотрел на огни. Москва не спит никогда. Он это знал с детства.

Ему было двадцать два.

Комната — двенадцать квадратов, скрипучий стул, стол, заваленный распечатками, кровать, на которой он спал с тех пор, как себя помнил. Двушка на Каширке, доставшаяся отцу ещё в восьмидесятые, когда завод давал жильё инженерам. Стены помнили советские обои, кухня — запах дешёвого чая и отцовского табака.

В соседней комнате, за тонкой стеной, спал отец. Сергей Петрович, 77 лет, оглохший, почти слепой, встававший только в туалет и к телевизору. Мать работала в ночную смену в поликлинике — уколы, карточки, вечные жалобы пенсионеров. Она возвращалась в семь утра, ложилась спать, а в час дня уже грела борщ.

Алексей жил с ними. Потому что москвич. Потому что снимать квартиру на стипендию и подработки было нереально. Потому что мать просила: «Побудь ещё, отцу тяжело одному».

Отцу было всё равно.

Отец всегда был — и будет — всё равно.

На столе, поверх учебника по радиохимии и распечатки диссертации научного руководителя (он правил её ночами за пятьсот рублей в час, без надежды, что его имя вообще появится в благодарностях), лежала тетрадь в клеёнчатой обложке. Синяя, потёртая, с разводами от пролитого кофе. Он купил её в переходе у метро «Коломенская» — там, где торговали всякой ерундой: китайские блокноты, дешёвые ручки, носки по три пары за сто рублей.

В этой тетради не было лекций.

Алексей открыл её на первой странице. Крупным, почти каллиграфическим почерком — единственное, чему его научил отец, чиркая заявления в военкомат, — были выведены рецепты.

Он знал эти рецепты лучше, чем формулы ядерного распада. И ненавидел себя за это.

Но не за рецепты.

За то, что ему нравилось их выводить.

С улицы донёсся далёкий вой сирены — скорая, полиция или пожарные, в Москве нулевых это было не различить. Алексей перевёл взгляд на окно. В отражении стекла он видел себя: худой, тёмные волосы падают на лоб, очки в тонкой оправе — не модные, дешёвые, из той же оптики на Каширке, где работала мать. Он не был красавцем. Он был незаметным. Таким, кто может просидеть в лаборатории восемнадцать часов, а потом молча передать бутылку с горючей смесью в подвале на Плющихе.

И никто не удивится.

— Лёша-химик, — прошептал он вслух, пробуя клличку на вкус. Её придумали не за силу или смелость. За точность. За то, что его бутылки никогда не взрывались раньше времени. За то, что он мог объяснить, почему одна смесь гуще другой, и почему на морозе нужно менять пропорции.

За то, что он не бросал их сам.

Никогда не бросал.

Он спрыгнул с подоконника, прошлёпал босыми ногами по старому линолеуму к столу, сел на скрипучий стул. Тетрадь смотрела на него синей обложкой. Он взял ручку — обычную шариковую, купленную там же, в переходе, — и перевернул несколько страниц. Чистый лист.

Он задумался.

Не о бензине. Не о завтрашней акции, где его бутылки полетят в стекло очередного банка. Не об ОМОНе, который разгонит их через двадцать минут после первого броска.

Он думал об отце.

Сергей Петрович Горелов родился в 1928-м. Ветеран труда, инженер, три брака. Двое взрослых детей от первого — старший брат и сестра, которых Алексей видел раз в пять лет на похоронах дальних родственников. Третья жена — мать Алексея — женщина, которая вышла замуж за молчаливого старика не по любви, а потому что в сорок лет «надо было как-то устроиться».

Когда Алексей родился, отцу было пятьдесят пять.

Пятьдесят пять лет — возраст, когда другие мужчины уже нянчили внуков. А его отец стоял у пелёнок с таким видом, будто перекладывает дрова: необходимо, скучно, безрадостно.

Алексей не помнил отцовских рук. Только силуэт в кресле у телевизора. Только молчание за ужином. Только ни разу — ни разу за двадцать два года — не сказанное «сын, я тобой горжусь».

Не потому, что отец был злым. Он был никаким.

Пустым.

И этот холод — не злоба, не боль, а именно пустота — был хуже любой жестокости. Жестокость можно понять, можно простить, можно отплатить той же монетой. А пустоту — только заполнить. Чем угодно. Химией. Анархизмом. Бутылками с зажигательной смесью.

Тетрадь с рецептами.

Алексей вывел на чистом листе:

«Человек свободен ровно настолько, насколько он готов отвечать за последствия своей свободы».

Он посмотрел на фразу. Перечитал три раза. Потом закрыл тетрадь и убрал её под стопку распечаток — так, чтобы никто не нашёл.

Со стороны кухни послышался шорох. На пороге комнаты появился Байкал — чёрный, с белым пятном на груди, дворовый, подобранный в прошлом месяце у мусорных баков за метро «Коломенская». Кот потёрся о дверной косяк, потом запрыгнул на кровать, свернулся калачиком у подушки.

Алексей погладил его, не вставая со стула.

— С котами проще, — сказал он тихо. — Они не требуют обещаний.

Кот мурлыкнул. За стеной закашлял отец — сухой, старческий кашель, который не прекращался уже год. Где-то на другом конце Москвы готовились к акции, где-то в подвале на Плющихе ждали его бутылки, где-то в роддоме на Каширке рождались дети, которые никогда не узнают своих отцов.

Алексей выключил настольную лампу, лёг на кровать рядом с котом и закрыл глаза.

Завтра он передаст бутылки.

Послезавтра вернётся в лабораторию.

А сегодня — сегодня он просто лежит на старой кровати в двушке на Каширке, в двадцать два года, с котом на подушке, и пытается понять, можно ли быть свободным, если не знаешь, что такое тепло.

Отец кашляет за стеной.

Мать вернётся через четыре часа.

Байкал мурчит.

Алексей засыпает под шум Каширского шоссе — шести полос бетона и света, которые никогда не молчат.

## Глава 1. Первая бутылка

2005 год. Осень. Москва, Плющиха.

Подвал был сырым, пахло плесенью, старыми газетами и дешёвым табаком. В углу висел потрёпанный портрет Че Гевары — кто-то приколот его к стене канцелярской кнопкой прямо через берет. Рядом — самодельный плакат: «Свободу политзаключённым!» с размазанными буквами, будто печатали на старой матрице.

Алексей сидел на перевёрнутом ящике из-под апельсинов, прислонившись спиной к бетонной стене, и слушал.

— Завтра в девятнадцать ноль-ноль, — говорил Андрей, неформальный лидер их маленькой группы. Ему было под тридцать, он носил чёрную кожаную куртку даже в помещении и курил одну за одной. — Отделение «Русского стандарта» на Ленинском. Стекло на первом этаже, сигнализация — хрень. Кидаем по два коктейля на окно и разбегаемся.

Алексей смотрел на свои руки. На пальцах — старые химические ожоги, незаметные с первого взгляда. Маленькие белые шрамы от серной кислоты, от щёлочи, от того, что однажды забыл надеть перчатки. Мать говорила: «Будешь как отец — с изуродованными руками». Отец руки не изуродовал. У отца вообще ничего не было.

— Лёха, ты слушаешь?

— Слушаю, — ответил Алексей, поднимая глаза. — Ленинский, «Русский стандарт», девятнадцать ноль-ноль. Два коктейля на окно. Я делаю смесь.

Андрей кивнул, затянулся, выпустил дым в потолок. Там, наверху, была Плющиха — старая московская улица с домами с антресолями, дворами-колодцами и котами, которые сидели на крышах машин. Алексей любил этот район за котов. И за то, что здесь никто не задавал лишних вопросов.

— Лёх, ты точно уверен, что не хочешь сам кинуть? — спросил Андрей, присаживаясь рядом на такой же ящик. — Ты ж ни разу не бросал.

— Уверен.

— Боишься?

Алексей подумал. Страх? Нет. Страху не было. Было отвращение. Не к тому, что бутылка разобьётся и загорится. К тому, что он увидит лица. Тех, кто будет тушить. Тех, кто будет кричать. Тех, кто, возможно, не успеет отбежать.

— Я не боюсь, — сказал Алексей медленно. — Я просто не хочу знать, что я сделал с человеком. Я делаю смесь. Я несу бутылки. А бросать — пусть бросают те, кто готов смотреть в глаза последствиям.

Андрей усмехнулся:

— Ты странный, Лёха-химик.

— Я честный.

— Это одно и то же.

В подвале было ещё пятеро. Алексей не запоминал их имён — они менялись каждые несколько месяцев. Кто-то уходил в тюрьму, кто-то разочаровывался, кто-то просто вырос и начинал думать об ипотеке. Андрей держался дольше всех — он был из тех, кто верил настоящему. Или просто не умел жить иначе.

Алексей не знал.

Он вообще мало что знал о людях. Он знал формулы. Знал, как лечить котов. Знал, что отец никогда не придёт на его защиту диплома. Знал, что мать вернётся с ночной смены в семь утра и первым делом не спросит «как дела», а поставит чайник.

Люди были для него сложнее химии.

Химия не врёт. Химия не обещает. Химия просто есть.

В дверь подвала постучали — три коротких, два длинных. Пароль. Андрей кивнул Костику, тот открыл. Вошёл высокий парень в вязаной шапке, с красным носом — на улице было холодно.

— Всё готово? — спросил он, снимая куртку.

— Завтра, — ответил Андрей. — Лёха сейчас смесь сделает.

Парень посмотрел на Алексея, сидящего на ящике в углу. Очки, худой, незаметный. Ничего героического.

— Этот?

— Этот. Лучший химик в Москве.

Алексей не улыбнулся. Он встал, потянулся, хрустнул шеей.

— Показывай, где гараж.

Гараж Костики находился в соседнем дворе — железный ящик, облепленный старыми наклейками «Рок против мусоров». Внутри пахло бензином, озоном и ещё чем-то сладковатым — может быть, остатками марихуаны. Алексей не курил. Ему нравился ясный ум.

Костик открыл багажник своей раздолбанной «девятки», достал канистру.

— Двадцать литров девяносто пятого, — сказал он с гордостью. — Хороший бензин.

— Для коктейлей лучше девяносто второй, — заметил Алексей, открывая канистру и нюхая. — Присадки в девяносто пятом дают больше дыма, меньше огня. Но сойдёт.

Он достал из рюкзака пластиковые бутылки — полторашки из-под «Святого источника», вымытые, высушенные. В таких удобнее всего. Не слишком тяжёлые, но достаточно ёмкие. Рядом — пакет с пенополистиролом. Он купил его на строительном рынке, сказав продавцу, что утепляет балкон. Продавец не поверил, но деньги взял.

Алексей работал быстро, точно, без лишних движений. Сначала пенополистирол — гранулы сыпались в бутылку, как снег. Потом бензин — через воронку, чтобы не пролить мимо. Потом ацетон. Потом загуститель — он растворил кусок хозяйственного мыла в тёплой воде, потом высушил, крошил, добавил в смесь. Густая, маслянистая жидкость — такая не вытечет сразу, облепит стекло, будет гореть долго и красиво.

Он работал молча. Костик стоял рядом, смотрел с уважением.

— Ты прямо учёный, — сказал он.

— Я и есть учёный, — ответил Алексей, закручивая крышку на первой бутылке. — Физик-ядерщик.

— И ты этим занимаешься?

Алексей поднял глаза.

— А чем ещё мне заниматься? Ходить на работу, получать копейки, смотреть, как отец умирает в кресле, и делать вид, что мир справедлив? Я не умею врать.

Он поставил готовую бутылку в ящик. Взял следующую.

— Ты веришь, что это что-то изменит? — спросил Костик тихо.

Алексей задумался. Потом сказал:

— Нет. Но я верю, что, если ничего не делать, изменится только одно — я стану как мой отец. Буду сидеть в кресле, смотреть телевизор и ждать смерти. А это хуже, чем любая бутылка.

Костик ничего не ответил.

Алексей сделал восемь бутылок за сорок минут. Проверил каждую на герметичность, перетянул горлышки изолентой — чтобы не открутились при броске. Потом убрал их в ящик, закидал тряпками.

— Завтра заберёте, — сказал он. — Только скажите, куда нести.

Андрей, стоявший в дверях гаража, кивнул.

— На Ленинский, к семи. Встречаемся у метро.

— Хорошо.

Алексей вышел из гаража, застегнул куртку. Ночь уже накрыла Москву — фонари горели жёлтым, дворы спали. Из подворотни выскочил рыжий кот, пробежал мимо, замер, посмотрел на Алексея.

— Иди, иди, — сказал Алексей. — Не бойся.

Кот убежал.

До Каширки было полчаса на метро. Алексей спустился в подземку, купил жетон (тогда ещё были жетоны), проехал через всю Москву — от Киевской до Коломенской, как всегда. Вагон был почти пустым. Напротив сидела пожилая женщина с тяжёлыми сумками, дремала. Алексей подумал: «А вдруг завтра её банк подожгут? Вдруг её пенсию съест инфляция? Вдруг она будет стоять у горящего окна и плакать?»

Он отогнал мысль.

Он делал смесь. Он не бросал бутылки. Он не виноват.

Выйдя из метро «Коломенская», Алексей не пошёл сразу домой. Он свернул в сторону школы, где учился десять лет назад. Здание стояло тёмное, пустое, только на первом этаже горел свет — ночной сторож, наверно. Алексей постоял минуту, вспомнил, как сидел на последней парте, как учительница химии (единственная, кто его замечал) говорила: «Горелов, у тебя талант. Не закапывай!».

Он не закопал.

Он просто нашёл другое применение своему таланту.

Двор школы был пуст. Только старые качели скрипели на ветру. Алексей подошёл к ним, сел, раскачался. Холодный металл пробирал даже через джинсы. Он смотрел на небо — московское небо осенью низкое, серое, звёзд почти не видно.

В кармане завибрировал телефон. Мать.

— Ты где? — спросила она усталым голосом.

— Гуляю.

— Есть будешь?

— Не хочу.

— Отец кашляет. Я вызвала скорую.

— Хорошо.

— Ты бы пришёл.

— Приду.

Он отключил звонок, встал с качелей и пошёл домой — через дворы, мимо мусорных баков, мимо подъездов, где на лавочках всё ещё сидели старухи, несмотря на холод.

Дома было тихо. Отец лежал в своей комнате, укрытый старым одеялом, дышал тяжело, с хрипом. Мать сидела на кухне, курила (хотя бросила десять лет назад), смотрела в стену.

— Приехали? — спросил Алексей.

— Сказали, что ничего страшного. Возраст.

— Возраст, — повторил Алексей, как будто пробуя слово на вкус.

Он прошёл в свою комнату, закрыл дверь. На кровати спал Байкал — чёрный, с белым пятном на груди. Кот поднял голову, посмотрел на хозяина, снова уткнулся носом в лапы.

Алексей сел за стол, открыл тетрадь в синей обложке. На чистом листе написал:

«Сегодня сделал восемь бутылок. Передал Андрею. Не бросал сам. Почему — не знаю. Может быть, боюсь. Может быть, не хочу знать, что такое убивать. А может быть, просто люблю котов больше, чем людей».

Он закрыл тетрадь, выключил свет.

За стеной кашлял отец.

Байкал мурлыкал.

Каширское шоссе шумело.

Алексей закрыл глаза и подумал: «Завтра будет акция. Бутылки полетят в стекло. Кто-то, возможно, пострадает. А я буду сидеть в лаборатории и считать нейтронные сечения. И никто никогда не узнает, что это я сделал ту смесь».

Это была не гордость.

Это была пустота.

Такая же, как в глазах отца.

## Глава 2. Девочка с качающимся настроением

2004 год. Весна. Москва, Таганка.

Это случилось на год раньше.

За год до первой бутылки. За год до того, как он получил кличку «Лёша-химик». За год до того, как он впервые передал в чужие руки горючую смесь.

Алексей ещё не знал, что такое настоящий страх.

Он знал только пустоту.

Антикафе на Таганке называлось «Угол». Помещение в подвале — низкие потолки, красные лампы, диваны с чужой обивкой, запах корицы и свободы. В нулевых такие места только появлялись: платишь за время, пьёшь чай бесплатно, слушаешь поэзию, чувствуешь себя причастным к чему-то новому.

Алексей пришёл с однокурсником — Серёгой, который увлекался «всем неформальным» и таскал друга на все подряд мероприятия. Алексею было лень, но он согласился. Всё равно делать нечего — отец у телевизора, мать на работе, кот (тогда ещё не Байкал, а другой, беспородный Васька, который через год убежит и не вернётся) спит на батарее.

Они сели на диван у стены. Серёга сразу ушёл знакомиться с какой-то девушкой в футболке «Nirvana». Алексей остался один, заказал чай с бергамотом и устался в сцену.

Сцена была маленькой — деревянный подиум, микрофон на стойке, колонки с потёртыми углами. Выступал какой-то бородатый мужчина с гитарой, пел про «свободу и любовь» — неинтересно, банально. Алексей пил чай, думал о лабе: завтра нужно было досчитать сечение нейтронов для дипломной, а данные не сходились.

Потом бородатый ушёл, и на сцену вышла она.

Алексей не заметил, как она поднялась. Она просто появилась — длинные тёмные волосы, чёрное платье, босиком. Без гитары. Без микрофона. Просто вышла и встала.

В подвале стало тихо.

— Марина, — объявил кто-то из организаторов. — Стихи.

Она начала читать Цветаеву.

Не так, как читают в театрах. Не с придыханием, не с заученными паузами. Она кричала. Нет, не кричала — она выплёвывала слова, как будто они жгли ей горло. Громко, до хрипоты, до того, что колонки гудели от резонанса.

«Мне нравится, что вы больны не мной, Мне нравится, что я больна не вами...»

Зрители смущённо переглядывались. Кто-то улыбался, кто-то отворачивался. Алексею казалось, что она читает только для него. Что каждое слово — о нём. О его пустоте. О его отце. О том, как трудно быть живым, когда внутри только холод.

Она закончила — резко, обрывком фразы, словно споткнулась. В подвале повисла тишина. Кто-то хлопнул неуверенно. Марина не поклонилась. Просто сошла со сцены, взяла с барной стойки чей-то стакан с вином и выпила залпом.

Алексей смотрел на неё.

Она почувствовала взгляд, обернулась.

— Ты единственный, кто не отвёл глаза, — сказала она, подходя к его столику.

— Мне нечего отводить, — ответил Алексей.

Марина улыбнулась — не счастливо, не весело, а как-то странно, будто и сама не понимала, улыбается или плачет.

— Ты какой-то... спокойный.

— Я физик-ядерщик.

— Это объясняет.

Она села напротив, взяла его чашку с чаем, отпила. Не спросила разрешения. Алексей не возражал.

— Ты веришь в любовь? — спросила она.

— Нет.

— В бога?

— Нет.

— В справедливость?

— Нет.

Марина отставила чашку.

— А во что ты веришь?

Алексей подумал. Потом сказал:

— В химию. И в котлов.

Она засмеялась — громко, неестественно, привлекая внимание других посетителей.

— Ты странный, — сказала она.

— Я честный.

— Это одно и то же?

— Иногда.

Они вышли из антикафе в третьем часу ночи. Москва весной — мокрая, холодная, пахнет бензином и прелыми листьями. Марина шла босиком по асфальту, не замечая холода. Алексей нёс её туфли — старые, чёрные, стоптанные.

— Ты живёшь далеко? — спросила она.

— На Каширке.

— А я на Юго-Западе. В общежитии.

— Филфак?

— Откуда знаешь?

— По глазам. У филологов глаза больные. От чтения.

Она снова засмеялась.

Они пошли пешком — через Таганку, через Яузский бульвар, мимо Кремля. Марина говорила без остановки: о Цветаевой, о Маяковском, о том, что поэзия — единственная правда, о том, что люди врут даже себе. Она говорила громко, размахивала руками, иногда переходила на крик.

Алексей молчал.

Он не умел говорить столько. Он умел слушать.

— Тебе не скучно со мной? — спросила она на Солянке.

— Нет.

— Ты вообще хоть что-то чувствуешь?

Алексей остановился, посмотрел на неё. На её горящие глаза. На дрожащие губы.

— Иногда, — сказал он. — Очень редко. Но сейчас — да.

Она взяла его за руку.

Рука была горячей, почти обжигающей.

Они встретились снова через два дня. Потом ещё раз. Потом каждый день.

Алексей почти перестал бывать дома — приходил только поспать, пока отец кашлял за стеной, а мать грела борщ. Он проводил время с Мариной. Гулял по Москве, слушал её стихи, смотрел, как она смеётся и плачет в одном предложении.

Она была яркой. Слишком яркой для его чёрно-белого мира.

Они целовались на набережной, под Крымским мостом, когда мимо проплывали последние теплоходы. Она пахла корицей и дождём. Он держал её за талию и чувствовал, как бьётся её сердце — слишком быстро, слишком громко.

— Я, кажется, влюбляюсь в тебя, — сказала она однажды.

Алексей промолчал.

Он не мог ответить тем же. Не потому, что не хотел — потому что не умел. Не знал как. В его семье не говорили о любви. В его доме не обнимались. Он вырос в тишине, где самое тёплое слово — «спокойной ночи».

Марина ждала ответа. Он так и не пришёл.

Первый тяжёлый эпизод случился через три недели.

Алексей приехал к ней в общежитие на Юго-Западную. Дверь открыла соседка, испуганная, заплаканная.

— Она уже третьи сутки не спит, — сказала девушка. — Пишет на стенах. Говорит, что с ней говорят боги. Мы не знаем, что делать.

Алексей зашёл в комнату.

Марина сидела на кровати, обняв колени, растрёпанная, с красными глазами. Стены были исписаны стихами — неровными буквами, острыми строчками, кривыми рифмами. Слова налезали друг на друга, как будто ей не хватало места для мыслей.

— Лёша, — сказала она, увидев его. — Они говорят, что ты меня бросишь. Я сказала им, что нет. Ты же не бросишь?

Алексей сел рядом. Взял её за руку.

— Не брошу, — сказал он.

Но в голове уже билась паника.

Он не знал, что делать. Он не умел спасать. Он умел только слушать и быть честным. А честность сейчас была бы смертельной.

— Они говорят, что я великая поэтесса, — продолжала Марина, не глядя на него. — Что мои стихи изменят мир. Ты веришь?

— Ты талантлива, — сказал Алексей осторожно.

— Талантлива? — она засмеялась — тем же неестественным смехом, что в антикафе. — Талантлива — это для посредственностей. Я гений. Гений, слышишь?

Она вскочила, начала ходить по комнате, говорить быстрее, быстрее, слова смешивались в белый шум. Алексей сидел, смотрел, пытался понять, где кончается Марина и начинается болезнь.

Он не понимал.

Он знал химию. Знал, как смешать бензин и пенополистирол. Знал, как лечить кошек. Но человеческую психику он не знал. В его доме никто не сходил с ума. В его доме просто молчали.

Он продержался ещё две недели.

Приезжал каждый день. Сидел с ней в общежитии, когда она не спала, ждал у двери, когда врачи ставили капельницы. Соседка вызвала психиатра — тот выписал галоперидол, сказал «возможно, биполярное расстройство», посоветовал госпитализацию.

Марина отказалась.

— Они меня залечат, — кричала она. — Они убьют мой дар.

Алексей сидел на кухне, пил чай, смотрел в окно. Юго-Западная — чужие дома, чужие люди, чужая жизнь.

Он не знал, что делать.

Он хотел быть рядом. Но каждая минута рядом высасывала из него силы. Он чувствовал, как его собственная пустота встречается с её переполненностью, и это столкновение рождало не тепло, а страх.

Он боялся.

Не за неё.

За себя.

Что он не справится. Что сломается. Что станет таким же — надломленным, кричащим, пишушим на стенах.

Он вырос в тишине. Он не умел жить с громом.

В последний вечер Марина была спокойной — слишком спокойной. Они сидели на подоконнике в её комнате, смотрели на закат. Она держала его за руку, гладила пальцы.

— Ты уйдёшь, да? — спросила она тихо.

Алексей молчал.

— Я знаю, — сказала она. — Я чувствую. Ты уходишь. Как все.

— Я не умею спасать, — сказал Алексей, наконец. — Я могу только не врать. А врать я не хочу.

— Тогда скажи правду.

Он посмотрел на неё. На её тёмные круги под глазами. На её бледную кожу. На её горящие, больные, прекрасные глаза.

— Я боюсь, — сказал он. — Я боюсь, что не справлюсь. Я боюсь, что сломаюсь. Я вырос в доме, где никто не кричал. Я не умею жить с криком.

Марина не заплакала. Она смотрела на него, как будто видела в последний раз.

— Ты честный, Лёша, — сказала она. — Это дорогого стоит. Остальные вралы, что спасут. Ты не врешь. Спасибо.

Он хотел обнять её. Но не сделал этого.

Он встал, взял куртку, вышел в коридор. Соседка стояла у двери, слышала всё.

— Ты правда уходишь? — спросила она.

— Я не могу здесь быть, — ответил Алексей. — Я сломаюсь.

Он вышел из общежития, сел в метро, доехал до Каширки. Дома было тихо. Отец спал в кресле, телевизор работал на беззвучном. Мать ещё не вернулась с работы.

Алексей зашёл в свою комнату, лёг на кровать. Байкала тогда ещё не было. Васька спал на батарее, даже не проснулся.

Он не плакал.

Он просто лежал и смотрел в потолок.

И думал:

«Я сбежал. Я снова сбежал. Как от отца. Как от тепла. Как от всего, что требует быть живым».

Это будет его стыдом на следующие пятнадцать лет.

Через месяц он узнал от соседки, что Марину госпитализировали в центр психического здоровья на Каширке — ту самую, мимо которой он каждый день ездил в институт.

Он не пошёл к ней.

Он боялся.

Или не хотел. Или не мог.

Он так и не понял до конца.

Через год он получил кличку «Лёша-химик», начал делать бутылки, познакомился с Вероникой в ЖЖ, встретился с ней во вьетнамском кафе на Савёловской, целовался в Царицыне, нёс её на руках, когда умирала бабушка.

Но Марину он не забыл.

Её горящие глаза. Её босые ноги на холодном асфальте. Её голос, читающий Цветаеву в подвале на Таганке.

Он помнил всё.

И ненавидел себя за то, что не остался.

Но он был честен с собой: он не умел спасать. Он умел только не врать.

А врать он не стал.

Даже когда это было бы легче.

### Глава 3. ЖЖ, вьетнамское кафе и химия

2004—2005 годы. Москва, Савёловская, Царицыно, Тула.

Знакомство случилось в Живом Журнале. Алексей тогда вёл дневник — писал об анархизме, о химии, о кошках, о Москве. Коротко, с иронией, без пафоса. Читателей было мало, но его это устраивало. Он не искал славы — искал честности. Вероника нашла его по тегам. Она училась в РХТУ — Российском химико-технологическом университете имени Менделеева, том самом, который все называли «Менделеевка». И на втором курсе добавила вторую специальность — переводчик с немецкого. Химик и переводчик в одном флаконе. Она тоже писала в ЖЖ — о переводческих сложностях, о химических реакциях, иногда о семье, но без подробностей, намёками, вскользь. Под постом о Бакуanine она оставила длинный умный комментарий. Он ответил. Началась переписка. Спорили об анархизме, о химии, о том, можно ли считать кошку идеальным животным. Сошлись на том, что можно. Переписка затягивалась на ночи. Он писал из своей комнаты на Каширке, за стенкой кашлял отец, мать грела чайник на кухне. Она — из своей квартиры на Царицынской, рядом с парком, где гуляла в детстве. Через неделю он написал: «Давай встретимся. Не в интернете». Она согласилась.

Место выбрала она. Вьетнамское кафе на Савёловской — дешёвое пиво, вкусный фобо, пластиковая мебель, запах жареного лука и риса. В нулевых такие были разбросаны по Москве. Невзрачные снаружи, уютные внутри. Хозяева не говорили по-русски, но улыбались. Можно было сидеть часами, и тебе приносили ещё чайника зелёного чая. Алексей пришёл первым. Нервничал — чего с ним почти не бывало. Поправил очки, одёрнул свитер, старый, шерстяной, мать вязала. Вероника вошла через пять минут. Рыжая, невысокая, с веснушками на носу. Обычная куртка, джинсы, кроссовки. Ничего лишнего. Она улыбнулась ему, как старому знакомому — без кокетства, без напряжения, просто: «Привет, я тебя знаю тысячу лет». Он выдохнул. Они говорили три часа. О химии — она рассказала, как на первом курсе РХТУ чуть не спалила лабораторию, наливая воду в концентрированную серную кислоту, и как старый лаборант сказал: «Девушка, вы бы ещё бензином чай заварили». Он рассказал, как считал нейтронные сечения до четырёх утра и уснул лицом в распечатку. Об анархизме — она цитировала Бакунина наизусть, он спорил, но мягко, без желания победить. О кошках — у неё никогда не было своей, потому что мать боялась шерсти, но она подкармливала дворовых у Царицынских прудов. О Москве. О том, как трудно быть честным в мире, где все врут. Расстались у метро. Он поехал на Каширку, она — на Царицынскую. Через час она написала в ЖЖ: «Сегодня пила пиво с интересным человеком. Вкусное пиво». Он поставил +1 и не спал до трёх ночи.

Вторая встреча случилась через четыре дня. Долго не могли согласовать время — у неё перевод, у него лаборатория, но оба хотели. Чувствовали это через экран, через слова, через смайлики. Встретились в парке Царицыно. Осень, но ещё тёплая, дворец стоял подсвеченный, пруды блестели, листья шуршали под ногами. Купили пиво в ларьке — теперь в стеклянных бутылках — и пошли вглубь парка. Говорили меньше, чем в первый раз. Смотрели больше. На воду, на уток, на старые дубы. Она шла рядом, иногда задевала его плечом. Он не отодвигался. После третьей бутылки сели на скамейку у дворца. Уже темнело, зажглись фонари — жёлтые, старые, с мягким светом. Она смотрела на него. Он — на неё. «Знаешь, — сказала она тихо, — я думала, что ты в жизни будешь другим. Более закрытым. А ты как на ладони». «Я не умею врать, — ответил он. — Это минус». «Это плюс». Она положила руку на его колено. Не нарочно, не вызывающе — просто. Он накрыл её руку своей. Ладонь была маленькой, холодной. Он сжал её, согрел. А потом она поцеловала его. Первой. Страстно, жадно, как будто ждала этого несколько лет, а не две недели. С языком, с руками, которые запутались в его волосах. Он притянул её за талию, она обхватила его за шею. Они целовались под фонарями Царицына, на фоне дворца, мимо шли редкие прохожие — им было всё равно. Потом он отстранился,

посмотрел ей в глаза, тяжело дыша, и сказал то, что говорил каждой: «Вероника, ты замечательная. Но я не умею любить по-настоящему. Не бери в голову, пожалуйста. Ты достойна человека, который будет любить тебя одного. А я останусь другом — навсегда». Она не обиделась. Не заплакала. Не ушла. Просто посмотрела на него — и увидела то, чего он сам в себе не замечал. «Хорошо, — сказала она. — Но ты хотя бы не исчезай, если мне станет плохо». Он обещал. И сдержал слово.

Потом, уже намного позже, она рассказала ему о себе. Не всё сразу — по кусочкам, в разные вечера. Когда ей было двенадцать, родители развелись. Отец, Евгений, работал инженером на заводе, пил по-чёрному. Не просто пил — допился до белой горячки. Мать, Наталья, год пыталась его спасать: кодировки, уговоры, скандалы, больницы. Бесполезно. Однажды ночью он полез на неё с кулаком, ничего не соображая, с дикими глазами. Мать схватила Веронику и ушла к соседке. А утром подала на развод. Это было правильное решение. Он мог убить их в припадке. А потом случилось чудо — медицинское и человеческое. Отец потерял всё: семью, работу, квартиру. Докатился до дна. Ночевал у приятелей, пил уже не скрываясь. И на этом дне он вдруг остановился. Зачем-то пошёл в вытрезвитель, оттуда его отправили к наркологу. Закодировался — тогда это делали «уколом», препарат вшивали под лопатку. Нашёл группу анонимных алкоголиков, ходил на собрания, сначала через день, потом раз в неделю. Потом встретил Ирину Николаевну — женщину удивительного терпения и доброты. Она не спасала его — она была рядом, пока он спасал себя сам. И вот уже двадцать лет он не пьёт. Ни разу не сорвался. Работает, выращивает помидоры на даче, звонит дочери по воскресеньям. Вероника гордилась им. Не за то, что упал, — за то, что встал. И за то, что каждое утро выбирает не пить. Мать через два года после развода вышла замуж за Вадима — спокойного инженера, который никогда не пил, не кричал, не исчезал. С отчимом у Вероники сложились отношения лучше, чем с родным отцом. Не потому что родной отец плохой — он прошёл ад и заслужил уважение. А потому что Вадим был присутствующим. Он ходил на родительские собрания, помогал с химией (сам был технарём, закончил Бауманку), учил её кататься на велосипеде. Не давил, не требовал называть «папой». Просто был рядом. Вероника вынесла из этого два урока. Первый: человек может упасть на дно и подняться. Срывы не всегда означают конец. Второй: семья — это не кровь, а выбор. Вадим выбрал их — и стал ближе, чем родной отец. Именно поэтому она не испугалась слов Алексея «не влюбляйся». Она уже знала, что любовь бывает разной, что люди могут расходиться без вражды, а счастье можно найти не с первым, а со вторым или третьим человеком. И что иногда самые важные люди в твоей жизни — не те, с кем ты спишь, а те, кто не исчезает, когда ты падаешь.

Осенью 2005 года всё рухнуло сразу. Сначала конфликт с научной руководительницей в РХТУ. Старая профессорша, доктор наук с железным характером, терпеть не могла студентов, которые «распыляются». Вероника же училась на химика-технолога и параллельно на переводчика — и руководительница считала, что это неуважение к «настоящей науке». Она вызвала Веронику к доске на кафедре, при всей группе, и сказала: «Ваша дипломная работа не тянет даже на тройку. Вы вообще понимаете, что такое химия, или вы здесь переводы делаете?» Вероника выбежала в слезах, хлопнув дверью так, что со стен посыпалась побелка. Потом бабушка — мать отца, единственная, кто всегда её поддерживала, даже когда отец пил — слегла с раком. Врачи сказали: «Готовьтесь к худшему». Бабушка жила в Туле, и Вероника моталась туда на электричках каждые выходные, возвращалась разбитая, с красными глазами. А потом парень, с которым она встречалась параллельно с Алексеем — у них были свободные отношения, он знал про Лёшу — просто исчез. Не ответил на звонки, не пришёл на встречу, удалил её из контактов. Испарился. Три удара. Один за другим. Вероника сломалась. Перестала есть, спать, выходить из дома. Сидела в темноте на кухне, смотрела в стену, где висела старая фотография бабушки. В два часа ночи она позвонила Алексею. Не «парню из кафе», не «собеседнику по ЖЖ» — человеку, который сказал «не влюбляйся», но при этом не врал и не исче-

зал. Он приехал через сорок минут. С Каширки до Царицынской — полчаса на метро, но он бежал. Влетел в подъезд, позвонил. Она открыла дверь — опухшая, в старой футболке, нечёсаная, босиком. За её спиной — разгромленная квартира: подушки на полу, разбитая чашка, на стене пятно от кофе. «Лёша, — сказала она, — я не знаю, что делать». Он молча снял куртку, прошёл на кухню, поставил чайник. Нашёл яйца и хлеб — сделал яичницу. Поставил тарелку перед ней. «Ешь». «Не могу». «Можешь. Я здесь». Она поела. Потом заплакала — уже тихо, без надрыва. Он сидел рядом, обняв её за плечи. Ничего не говорил. Не говорил «всё будет хорошо» — потому что не знал. Не говорил «я с тобой навсегда» — потому что не умел врать. Он просто был.

Следующие две недели он жил между Каширкой и её квартирой на Царицынской. Приезжал каждый вечер после лаборатории. Иногда оставался ночевать — на полу, потому что она не могла спать одна. Она просыпалась в три часа ночи с криком — бабушка снилась. Он вставал, наливал воды, садился рядом, держал за руку, пока она не засыпала снова. Он ходил с ней в больницу к бабушке в Тулу — ехал в электричке, сидел в коридоре онкологии, слушал, как врачи говорят страшные слова, и держал её за руку, когда она выходила — белая, дрожащая. Он разобрал её конфликт с научной руководительницей. Сел, прочитал дипломную — сто пятьдесят страниц по химии технологии. Нашёл ошибки в расчётах, поправил. Написал новую вводную — чёткую, строгую, без пафоса. Сказал: «Ты умнее своей профессорши. Просто ей страшно, что ты её перерастёшь. И ещё — она никогда не могла выучить немецкий, а ты можешь. Вот и злится». Она не поверила сразу. Но потом — поверила. Он слушал её рассказы о бывшем парне. Не говорил «он козёл» — потому что это банальность. Говорил: «Люди исчезают, когда не могут быть честными. Я предпочитаю быть честным. Даже если это больно». И — самое главное — он носил её на руках. Буквально. Когда у неё не было сил встать с кровати, он подходил, поднимал её, как ребёнка, и переносил на кухню. Сажал на стул, наливал чай. Потом — обратно. С кухни в ванную, с ванной в кровать. Она не сопротивлялась. Она просто обнимала его за шею и шептала: «Ты же сказал „не влюбляйся“». «Да, — отвечал он. — Но я не сказал „не рассчитывай на меня“. Помогать и любить — это разные вещи. Я не умею любить, но умею быть рядом». Она думала: «Мой родной отец в своё время не умел ни того, ни другого. А этот странный человек с кличкой Лёша-химик умеет хотя бы второе. И этого достаточно».

Бабушка умерла через два месяца. Вероника успела попрощаться. Сидела у её постели, держала за руку, слушала последние слова: «Ты сильная, Вероничка. Ты справишься. Не бойся жить. И не бойся любить — даже если больно». Алексей был на похоронах в Туле. Стоял сзади, не лез в первый ряд. Смотрел, как Вероника стоит у гроба — прямая, сжатая в пружину. Рядом — мать Наталья с отчимом Вадимом. Вадим держал мать за руку, гладил по плечу. Он был спокойным, надёжным. И отец Евгений — трезвый, тихий, в чёрном костюме. Он пришёл. Это было важно. Он не пил уже много лет, и он здесь, на похоронах своей бывшей тёщи, которая когда-то его ненавидела за пьянство, а под конец жизни простила. Вероника оглянулась на Алексея. Он кивнул. Она кивнула в ответ. На поминках в маленькой тульской столовой Вадим подошёл к Алексею, пожал руку: «Ты ей помог. Я знаю. Спасибо». «Я просто не умею врать», — сказал Алексей. Вадим усмехнулся: «Некоторые не умеют пить. Другие — врать. У каждого свой талант. Ты, я смотрю, вообще молодец». Отец Евгений тоже подошёл — неловко, сухо. Посмотрел на Алексея, на Веронику, которая сидела в углу с чашкой чая. «Ты Лёша? Спасибо тебе. Я тогда... я не мог. А ты смог». Алексей кивнул. Они не обнимались, но рукопожатие было крепким.

А потом в жизни Вероники появился Дмитрий. Они тоже познакомились в интернете — кажется, на каком-то форуме по фотографии. Дмитрий был старше на пять лет, жил на Савёловской в квартире, которая досталась ему от бабушки. Квартира была старой, с высокими потолками, скрипучим паркетом и запахом нафталина. Там же жил огромный серый кот Вася — толстый, флегматичный, с мордой бывалого дворового драчуна. Вася спал на подоконнике,

игнорировал гостей и требовал еду ровно в семь утра, иначе начинал орать дурным голосом. Дмитрий занимался настройкой рекламы в интернете — в нулевые это называлось «контекстная реклама», и мало кто понимал, как это работает. А потом он постепенно перешёл в фото- и видеосъёмку. Сначала снимал друзей на вечеринках, потом — маленькие свадьбы, потом — рекламные ролики для небольших компаний. Он был малообщительным — не потому, что стеснялся, а потому что не видел смысла в пустых разговорах. Зато если он говорил, это было по делу. И он умел молчать рядом — не напряжённо, а спокойно, как будто тишина была такой же частью разговора, как слова. Сначала они с Вероникой были просто друзьями. Переписывались, иногда встречались в кафе, он показывал ей свои фотографии. Она восхищалась его чувством кадра — он умел видеть красивое там, где другие проходили мимо. Он слушал её рассказы о химии, о переводе, об Алексее — и не ревновал, хотя она говорила о Лёше с какой-то особенной теплотой. А потом Вероника заметила, что он смотрит на неё иначе. Дольше. Внимательнее. Не как на друга — как на девушку. Она не испугалась. После Алексея, после «не влюбляйся», после всего, что случилось осенью, она уже не боялась честных вещей. А Дмитрий был честным — по-своему, молчаливо, без громких слов. Он никогда не говорил «я тебя люблю» в первые месяцы. Он просто был рядом. Приезжал, когда она болела, привозил суп. Помогал с переездом, когда она меняла квартиру. Гладил Васю, который снисходительно терпел его руки. И однажды — уже после Нового года, после всех бабушкиных похорон, после защиты диплома — она поняла, что хочет быть с ним. Не потому, что он безопасный. Не потому, что он удобный. А потому что он надёжный. Спокойный. Настоящий. Она пришла к Алексею и сказала: «Кажется, нашла». Алексей улыбнулся, обнял её: «Я же говорил. Будь счастлива». «Спасибо тебе, — сказала Вероника. — За ту осень. За всё». «Не за что, — ответил он. — Ты бы сама справилась. Просто медленнее». Она засмеялась. Впервые за много месяцев — по-настоящему, с веснушками, которые собрались на носу.

Через пятнадцать лет, когда у Марины случится гипомания, а Алексей вымотается в ноль, он позвонит Веронике в два часа ночи. Она приедет через час. С супом, слингом и кормом для котов. Потому что помнит: он приезжал к ней в Тулу, в онкологию, на Царицынскую. Когда ей было двадцать два и мир рухнул. И теперь её очередь. Семья — это не кровь. Это кто пришёл и кто остался.

## Глава 4. Лекция об анархизме

2006 год. Осень. Москва, Тверская

К тому времени Алексей уже почти отошёл от активной анархистской деятельности. Не потому, что разочаровался — он вообще редко разочаровывался в идеях, потому что относился к ним как к химическим формулам: они либо работают, либо нет. Анархизм как идея работал. Анархизм как практика — с бутылками, поджогами, разбегающимися по дворам людьми — работал всё хуже. Акции становились мельче, людей хватало чаще, Андрей отсидел полгода в Бутырке и после этого уехал в Питер, где открыл шаурмичную. Остальные разбрелись кто куда. Кто-то ушёл в политику, кто-то в бизнес, кто-то в запой.

Алексей остался при своём. Он ходил на лекции, иногда спорил в интернете, но бутылки больше не делал. Тетрадь в синей обложке лежала под стопкой распечаток, и он открывал её всё реже. На смену пришла диссертация, нейтронные сечения, вечные отчёты для начальства в Росатоме. Он получал прилично, на все хватало — на еду, на мать, на котов — и получалось даже накопить приличную сумму. Байкал уже жил с ним, Тесла появится через пару лет.

Осенью 2006 года в одном из книжных в Малом Гнездиновском переулке — маленький магазинчик с деревянными полками, где пахло пылью и типографской краской — должна была быть лекция по истории левого движения. Алексей узнал о ней случайно, от знакомого из ЖЖ, и решил сходить. Не потому, что ждал откровений. Просто делать было нечего, а на Тверской он давно не был.

Лектор оказался скучным — бородатый мужчина лет пятидесяти, который говорил монотонно, то и дело поправлял очки и сыпал датами, как будто готовил слушателей к экзамену. В зале было человек пятнадцать: студенты, пара пожилых левых с натруженными руками, один тип в футболке «Rage Against the Machine» и девушка, сидевшая в третьем ряду у окна.

Алексей сел сзади, чтобы не привлекать внимания. Слушал вполуха, пока лектор не начал цитировать Прудона — неправильно, с искажением смысла. Он уже открыл рот, чтобы поправить, но девушка в третьем ряду его опередила.

— Простите, — сказала она громко и чётко. — У Прудона не «собственность — это зло», а «собственность — это кража». Это разные вещи. Он не отрицал владение, он отрицал право владельца эксплуатировать чужой труд. Вы искажаете смысл.

Лектор замаялся, поправил очки, попытался возразить, но девушка не уступала. Она спорила толково, зло, с иронией. Голос у неё был низкий, уверенный, московский — без оканья, без аканья, просто правильный русский язык, который в нулевые уже редко где услышишь.

Алексей смотрел на неё и почему-то улыбался. Она говорила о Прудоне так, будто знала его лично. И при этом не была похожа на анархистку — никаких чёрных курток, никаких плакатов. Короткая стрижка, очки в тонкой оправе, серьга в левом ухе, джинсы, синий свитер. Обычная девушка, каких много в московских институтах. Но спорила как чёрт.

Лектор сдался через пять минут. Пробормотал что-то про «разные трактовки» и перешёл к следующей теме. Девушка откинулась на спинку стула, сложила руки на груди, но продолжала слушать внимательно, иногда кивая, иногда качая головой.

После лекции Алексей подошёл к ней. Не потому, что хотел познакомиться — просто хотел сказать, что она молодец. Но когда он открыл рот, получилось иначе.

— Вы отлично спорите, — сказал он. — Я тоже заметил ошибку, но вы сказали быстрее. Она посмотрела на него поверх очков. Оценивающе, но без высокомерия.

— Вы тоже читали Прудона?

— В оригинале. На французском.

— Правда? — она приподняла бровь. — Физик-ядерщик, который читает Прудона на французском. Это необычно.

— А вы кто? — спросил Алексей. — Филолог? Историк?

— Биолог. Ирина. — она протянула руку. Рукопожатие было крепким, коротким, без кокетства. — Работаю в НИИ на Соколе. Изучаю клеточные механизмы старения.

— Старение? — Алексей усмехнулся. — Это депрессивная тема.

— Наоборот, — сказала Ирина. — Если мы поймём, как клетки стареют, мы сможем это замедлить. Это оптимистичная тема. Просто долгая.

Они вышли из книжного на Арбат. Было холодно, ветер гнал по мостовой жёлтые листья, редкие прохожие кутались в куртки. Алексей предложил выпить кофе — не потому, что хотел кофе, а потому, что не хотел расходиться. Ирина согласилась.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.